

Alma mater. Воспоминания о Линькове

Наше духовное становление совпало с переломом эпохи. Мы из тех счастливицков, которым удалось посетить сей мир в роковые минуты. Дело не в кризисе экономики, не в крушении структур власти, не в упадке — вплоть до профанации — системы образования. Это всё следствия. Народ похоронил свою идею — вот в чем суть. Идею коммунизма. Сам зачал, сам родил, сам вырастил и сам похоронил. Трагедия эпохи! На фоне ее «великое противостояние» партocrats и демократов — комедия. Хотят утешить народ хорошей жизнью и свободным словом. Ради чего жить хорошо и что сказать в свободном слове, если нет идеи?

В 1984 году всего этого я еще не понимал. За тем мы все тогда и пришли на философский факультет Ленинградского государственного университета, чтобы научиться понимать. Впрочем, тогда дело не казалось совсем безнадежным. Власть имущие наспех стряпали муляж идеи, чтобы хоть немного поддержать ситуацию, и вроде бы им удавалось. Мы же, почуявшие подлог, затеяли Реформацию, дабы возродить идею в ее чистоте. Презрев Святое предание, обратились к священным текстам Писания. «Экономико-философские рукописи 1844 г.» Маркса, «Государство и революция» Ленина — всё обращалось против устоев правящей партии. В кулуарных спорах за бесконечными чаепитиями в общежитии столько тезисов было выдвинуто в пику партийному «католицизму», что с нами не сравнился бы и сам Лютер. Временами это брожение умов выплескивалось вовне, демонстрацией проникало в коридоры факультета и нарушало академический ритм аудиторных занятий. Тут и спадала юношеская спесь. Академизм растворял ее в себе. Горе-протестанты, движимые инстинктом разума, а также нравочениями мудрых наставников, удалялись в тишь научных кабинетов, дабы там, прежде чем наводить порядок в мире, навести порядок у себя в головах. Так зародилось серьезное отношение к философии. Иного она не терпит. Философию мало знать, ею надо быть, — что-то подобное говорил Фихте. И наоборот, только философское знание становится последним оправданием человеческого бытия.

Идея коммунизма умерла, но механизмы, обслуживающие её, продолжали работать по инерции. Среди них и философский факультет, задача которого — готовить глашатаев этой идеи. Факультет содержал при себе огромную гвардию ортодоксальных марксистов-ленинцев, для которых преподавание стало привычкой. Оно сводилось к подмене всего историко-культурного и историко-философского процесса совершенно абстрактной схемой. Есть материалисты — чистые, есть идеалисты — нечистые, все остальное — от лукавого. Такое занудство не вызывало никакого интереса со стороны молодых ищущих умов, разве что как предмет незлобивой иронии. Другие преподаватели, порывая с этой схемой, наоборот, впадали в многообразие историко-философского материала. Его коллекционирование, пересказ, дополняемый блеском общей эрудиции и оригинальной манерой изложения, — всё это привлекало поначалу наше внимание. Однако известно со времен Гераклита, что многознание не научает человека уму. Не удовлетворило оно и нас.

Ясно было одно, в философию не войдешь через резонёрствующие монографии и учебники советского времени, впрочем, как и через любые другие учебники. Требуется работа классиками, начиная с Платона. Но как сохраниться в этой работе, не быть подавленным мыслью столь великих авторитетов, притом оспаривающих друг друга? Как связать их, во-первых, друг с другом, во-вторых — с самим собой? Гегелевское «Введение в лекции по истории философии» читалось как откровение. Рассмотрю историю философии как процесс развития единого принципа! Иначе уподобишься животному, которое прослушает все звуки симфонии, но не услышит мелодию — их единство. Принцип же, при всей его универсальности, должен быть не внешним тебе, а, наоборот, стихией твоей собственной свободы. А это и есть разум. Но всё это было лишь программой, целью, для реализации которой требовалась кропотливая ученическая работа, а последняя нуждается в живом слове, в примере. И это слово, и этот пример нашлись для нас в стенах факультета. Нам суждено было пройти через школы двух преподавателей, повлиявших на становление философской культуры многих из нас.

С Константином Андреевичем Сергеевым встретились на втором курсе. Работали с материалом философии Возрождения, Нового времени, кантовской философии. Работа увлекла, ибо на первый план Сергеев выдвинул задачу понимания. Понимание строилось следующим образом. Всякая эпоха в своем культурном многообразии реализует единый принцип, отличный от принципа другой эпохи. Философия как высшая форма культуры выражает принцип своей эпохи в чистоте. Задача философа-исследователя сводится к тому, чтобы обнаруживать эти принципы, выражать их различие и иллюстрировать каждый из них в явлениях соответствующей исторической формы

культуры и философии. Оставались открытыми следующие вопросы. Во-первых, в чем необходимость всех этих принципов самих по себе и в том историческом отношении, в котором они находятся друг к другу? А следовательно, есть ли единый критерий для оценки истинности этих принципов? Есть ли принцип принципов? Во-вторых, каково мое место — место исследователя — в ряду этих принципов? Необходим ли я сам? Тем не менее великое дело сделано. Ориентиры расставлены — разум перестал теряться в философском многообразии. Возникла, как говорит сам Константин Андреевич, проблемная ситуация. А главное, появился вкус к философскому исследованию.

Вторую школу вел Евгений Семенович Линьков. Его имя, окруженное ореолом известности и даже славы, тянет за собой биографию, полную событий как явно героических, так и проблематических, дающих повод для тренировки способности суждения как верным ученикам, так и злопыхателям. Твердо можно сказать одно. Что бы ни делал этот человек в своей жизни, всё было подчинено одной цели: сформировать в себе мышление как меру человеческой свободы и достоинства и в качестве такового быть примером для других. Искренняя, бескорыстная любовь к мудрости, становящаяся самой мудростью, — это биография, форма, лицо Линькова. Влияние, оказываемое мэтром на умы и сердца учеников, давно превзошло официальный научный статус Линькова. Всего несколько лет назад он поднялся со ступеньки ассистента на ступеньку доцента. Из научных работ известны только небольшая монография по Шеллингу, написанная давно еще по материалам кандидатской диссертации, и статья в университетском журнале, рассматривающая диалектику мышления и бытия. Уже давно идет речь о новой монографии, которая вот-вот должна выйти. Однако, то «не дописал», то «вернули на доработку», то «сам не удовлетворен», то — домысливают студенты — воры украли, мыши поели. Может, наскучила философии трактатная форма и она удовлетворяется, как во времена Сократа, живым словом? А в мастерстве живого философского слова я не встречал равных мэтру. «Да это же настоящий философский театр!» — отозвалась одна студентка о его лекции. Истинный театр! Где внешней выразительности, остроумию соответствует проработанность идеи, логичность в движении мысли. По отношению к аудитории — доверительность. Аудитории доверяется нести мысль — соразмышлять — с преподавателем.

Об этих философских спектаклях стоит рассказать здесь поподробнее. В суетливой жизни факультета лекция Линькова представлялась событием особым. Читаемая раз в неделю — обычно по пятницам — она составляла как бы смысловое ударение учебного календаря. Накануне пятницы считалось дурным тоном при встрече с товарищем не спросить: «Ну как, идешь на Семёныча?». После пятницы — прослушивание магнитофонных записей лекции, обсуждение содержания, и всё это, как правило, приправлялось каким-нибудь философским анекдотом, сымпровизированным Линьковым, или комиксом, родившимся прямо на лекции. Предметом хохмы могла стать или сама аудитория, неадекватно реагирующая на лектора (кстати сказать, каждый из слушателей считает себя почему-то серьезнее и разумнее аудитории в целом), или один из незадачливых слушателей-новичков, или (о, Боже!) сам мэтр. Заметьте, чем выше авторитет учителя, чем больше уважения к нему, тем чаще возникает желание подхихикнуть над этим авторитетом. Ирония поначалу единственное оружие в борьбе за автономию своего «Я». Что касается «жертв» иронии, то уместно вспомнить юношеское замечание Канта: те, кто всю жизнь утверждали свободу, не должны роптать, если свобода обернется против них же самих.

Но это всё до и после пятницы. А в пятницу... Приходить лучше пораньше, минут за 20—30, тогда есть шанс занять хорошее место в аудитории. Заходишь в обшарпанное здание факультета, поднимаешься по обшарпанной лестнице на 3-й этаж, заходишь в знаменитую, но не менее обшарпанную аудиторию №150. Это вам не просто отсутствие денег и материалов на ремонт. Всё гораздо глубже. Феноменологическое введение в философию! Подходя к зданию, ты еще надеешься. Может, будет лучше, дай только власть демократам. На лестнице ты понял, что лучше не будет, и правильно: «Всё конечное достойно гибели». На пороге сто пятидесятой ты вполне созрел, ибо в голове вертится: «Не хлебом единым...». А Словом! Тем самым, ради которого пришел сюда. И для тебя это праздник. Маленький еженедельный философский праздник.

Первые столы уже заняты любителями магнитофонной записи. Разнообразие моделей — от старого громоздкого ламповика до портативного японского диктофона — предвещает грядущее социальное расслоение общества. Время перед лекцией можно использовать для клуба деловых встреч. Ибо здесь собирается весь философский цветфакультета. Кто-то координирует свои планы на неделю, кто-то собирает какие-то взносы, кто-то кому-то что-то принес. Вот чернокнижник с лицом невинного младенца толкает брату-студенту «Феноменологию духа» по баснословной цене (не

хочешь — не бери!). Думаешь: и этот тоже линьковец. Вспоминаешь Достоевского: «Широк человек, слишком даже широк...». Аудитория набивается до предела. Последние уже рыщут по факультету в поиске стульчика. Публику можно разделить на два класса. Первые — это те, которые приходят и уходят, т.е. обязанные пройти курс у Линькова согласно учебному плану. Другие — добровольцы. Это завсегда таи Линьков-шоу. Именно о них говорят: ученики. Среди них — аспиранты и студенты-философы, универсанты других факультетов, преподаватели 20 ленинградских вузов, инженеры, люди искусства и просто чудаки-оригиналы, каких у нас немало, и конечно же экзальтированные женщины, не отстающие от моды. Всегда чувствуешь симпатию к этим добровольцам, переходящую в осознание чего-то сакрального, связывающего всех нас. Этим сакральным оказывается мысль, слово, бескорыстный интерес к которому способен собирать людей, вроде бы столь далеких друг от друга.

Гул стихает — в аудиторию вошел мэтр. Неизменно в черной, далеко не новой «тройке»... без галстука. (Последнее рассматривалось как знак демократизма.) Мужчина среднего роста, коренастый. Про лицо можно сказать сразу: в нём не осталось ничего непосредственного. Дух, накладывая на облик печать своих узоров, светится в них собранностью, что придает лицу твердость, а последняя есть и бесконечная уверенность духа в самом себе. Живые глаза тут же низлагают видимость монументальности духа, а он в своем процессе уже захватывает в движение лицо, придавая ему выражение то еле уловимого лукавства, то искреннего удивления, то мягкой иронии, вдруг переходящей в сарказм. Лукавство — это предвкушение сюрприза, который получит пытливый рассудок, движущийся вглубь какой-либо определенности. Пока движешься к сути, наивно полагаешь, что там и найдешь отдохновение. Твой поводырь — Линьков — лукавит. Он-то, искушенный в диалектике, знает, что ничего не ждет в сути, кроме толчка, отбрасывающего в противоположность. И вот толчок. Секунда на то, чтобы перевести дух и сообразить, что произошло. А дальше — удивление. То самое, про которое Аристотель сказал, что с него начинается философия. И мэтру уже не до лукавства. Если ты философ, то не устаешь тысячи раз испытывать это удивление и разделишь его с аудиторией. Ты постигаешь тайну вечного рождения мира через противоречие, и ему сопутствует твое вечное удивление, в котором ты всегда молод. Представляю, какой детский восторг испытывал Платон, силой мысли переводящий в «Пармениде» бытие в небытие, единое во многое и наоборот! А Кузанский, сворачивающий максимальное в минимальное и выводящий из точки мир! А следом — ретроспективный взгляд на тех, кто не уловил этого перехода, кто тщится удержаться за ясную и отчетливую для рассудка односторонность, кто боится перейти в противоположность, чтобы умерев на Голгофе диалектики, воскреснуть в истине. Если они таковы по недоумению, то достойны иронии. Если они таковы в силу угождения власти имущим, то заслуживают сарказма.

Лекция Линькова — это каторжный труд как для исполнителя, так и для слушателей. Чтобы не потерять логики, сознание вынуждено удерживать одновременно несколько ступеней мысли — нераздельно, но и неслиянно. Делая очередной логический шаг, Линьков тут же подкрепляет его, во-первых, соответствующим движением мысли в истории философии. Во-вторых, иллюстрирует соответствующими моментами в природе или истории. Больше всех, конечно же, икалось советскому государству, которое именовалось не иначе как «у нас с семнадцатого года». Союз предстал прямо-таки абсолютным воплощением всех превратностей рассудочного мышления. Поначалу это забавляло публику. После «Огонька» стало неактуально. Теперь, боюсь, может восприниматься как брюзжание. Однако вопрос об отношении к Советской России стал важен сразу, как только появилась насущная потребность самоопределиться во всемирной истории. Именно она задала проблемную ситуацию в кругу моего философского общения.

От истории философии мы перешли к философии истории. И тут среди учеников Линькова возникло течение мысли, явно противоречащее учителю в оценке Советской истории. Для Линькова Россия с 1917 года была чем-то неразумным — случайным отростком всемирной истории. В доказательство он ссылался на правовую и экономическую неразвитость страны, на подавленность личностного начала. Оппоненты, отбрасывая всё это как внешнее, указывали на суть самой коммунистической идеи, в которой видели очередную эпоху мирового духа. Россия, явившаяся первым — хотя и варварским — глашатаем этой идеи, таким образом, попадает в ранг всемирно-исторических держав. Линьков был непреклонен в своем суждении. Однако совсем недавно в интервью по телевидению он высказал довольно-таки любопытную мысль. Россия должна преобразиться не через экономическую и политическую сферу — здесь она будет лишь копировать Запад, — а через духовную, где ее собственное преображение было бы и новым шагом в мировой

культуре. Помимо лекций у нас были и другие способы попытаться Линькова. По традиции раз в год мэтра приглашали в общежитие для встречи в так называемой «неофициальной обстановке».

Поначалу на такие встречи допускались все. Потом, дабы не профанировать идею, круг приглашенных стали сужать. Последняя встреча, которую я застал в качестве студента, проходила при полной секретности с количеством участников — 12, за что и получила название «тайная вечеря». Комната, в которой намеревались принять гостя, была известна единицам. Для остротки посоветовали, по примеру Платона, прибить на двери табличку: «Да не войдет сюда не знающий диалектики». На что тут же возразили: тогда не войдет никто, кроме учителя. Из женщин допустили только двоих, да и то с условием, что они будут разливать кофе. Линьков после лекции на факультете отправился в общежитие в сопровождении нашего человека, которому было строго наказано «следить, чтобы Семёныч нигде не застрял». У входа в общежитие их встречал еще один наш, чтобы провести в секретную комнату. Оба сопровождающих, проводя мэтра через коммунальный бедлам общаги, пресекали всякие попытки любопытных зевак перехватить Линькова или сесть на хвост.

И вот все в сборе. Расселись кругом по комнате. Семёныч закурил — к концу вечера хоть топор вешай, всем налили крепкий кофе, и началось. Наши вопросы, его ответы, обозначается тема и позиция мэтра, пробуем даже возразить. Потом внезапно у кого-то срывается с ума иное, видимо, давно носимое им, — тема меняется, но как ни верти, все дороги ведут в Рим. О чем спрашивали? О современном мире в контексте всемирной истории, о настоящем и будущем России. О том, как можно развивать философию в логической форме и что делать после Гегеля. Как соотносятся философия и науки? Что понял Маркс, а что не понял? Кто из огромной гвардии советских философов заслуживает уважения? В кризисе ли Запад, и кто там философствует? Просили рассказать о героических буднях борьбы Линькова с партаппаратом (говорят — наступил на мозоль самому Романову).

Расходились затемно. Старые проблемы разрешались, породив на свет новые, требующие новых библиотечных бдений, новых ночных раздумий и бесконечных взаимных исповедей, в которых мы доверяли друг другу самое дорогое — удивление философского понимания.

Если нам суждено сказать свое слово, то только благодаря тому, что мы стоим на плечах поколения Линькова, поколения «шестидесятников». Хрущевская оттепель позволила пробиться росткам личностей. Пришедшая ей на смену двадцатилетняя стужа сломала многих. Выстоять можно было лишь перевоплощаясь в титана. Такое под силу немногим. Они делали себя «несмотря на...». «Всё великое, — писал Ницше, — создается несмотря на что-либо». В то время не могло быть дешевой показной свободы. За нее каждый день следовало идти на бой. Мужество, волю к истине, волю к творчеству узнаю я на лицах этих людей, давших нам такие примеры в искусстве и в философии, после которых чувствуешь постоянное угрызение совести за леность своей души. Да, нашему поколению повезло, перед нами был пример героического освобождения от рабства. Да и сами мы еще поборолись против насилия над духом. Тем же, кто идет за нами, свобода преподносится как данное, и они, не зная подлинной цены, спешат разменять ее на политическую трескотню, предпринимательство, модные псевдофилософские течения. Дух основательности — вот что нам нужно сохранить, а может, и приобрести заново. А он невозможен без образования. Ни политические, ни экономические перетряски не помогут нам, если не возьмемся за образование. Настоящее, классическое, а не поверхностное типа компьютерной грамотности, маркетинга. Но образование нуждается в скрепляющей идее. В поисках ее, напряженно вглядываюсь в мир нашего университетского философского братства.

Игорь Авксентьевский, 2000 г.